**О языке Андрея Платонова**

Вячеслав Лютый

В ХХ веке почему-то вдруг нормативность русского языка стала веригами. С одной стороны . для тех, кто русский язык почитает лишь как средство коммуникации в связи с реальностью, которая меняется стремительно. Они не видят ничего зазорного в том, что в тело языка вдруг оказалось возможным имплантировать (вращивать) самые разнообразные словарные элементы и конструкции, которые выражают смутные настроения, эмоциональные всплески и, конечно, новые реалии и предметы . особенно сегодня, в период информационной революции. Для них язык . не образен, и потому множество языковых фигур в разговорной речи вполне могут заменять друг друга. Глубинные, неизреченные смыслы здесь категорически не задействованы, более того . они отрицаются. И потому перед нами . языковая пена, налипшая на норму русского языка и имеющая цель скрыть ее и представить язык фонетическим хаосом. Именно это впечатление складывается, когда слушаешь современную молодежную арготическую речь и словесный поток радио-ди-джеев.

Но есть и противоположная грань в странном, на первый взгляд, отрицании нормативности, которую кратко можно обозначить как цепь наблюдательных столбов, рационально размещенных в волнующейся стихии русского языка. Уже поэтому видно, что нормативность и язык . вещи взаимно дополняющие друг друга и что язык . это космос, а правило . всего лишь его карта, не более . но и не менее того.

В 30-х годах ХХ века можно увидеть две литературные попытки превозмочь нормативность ради обретения нового смысла, по видимости скованного правильностью прежней речи и ускользающего от своего адекватного языкового выражения. Интуиция и чувство подсказывали смутный образ этих смыслов: одни из нихљ явились в мир как новые, прежде не бывшие, другие . внезапно открылись в уже существующем мире. Первые . связаны с именем Михаила Зощенко, вторые . с именем Андрея Платонова.

Титаническая попытка Зощенко в языке отразить чувственную оболочку социального, в которое Россия погрузилась, подобно человеку, упавшему, кажется, в бездонную воду, закончилась неудачей. У .социальной воды. оказалось дно, нога нащупала его, фигура приподнялась над поверхностью . и глаза, уши, рот человека оказались свободны: вокруг вновь была воздушная среда. Так языковой подвиг Михаила Зощенко стал только знаком времени, неким феноменом, отклонением от нормы, которая вновь возобладала.

Для Андрея Платонова социальный и языковой сдвиг приоткрыл смыслы, которые таились в пазах нашей речи, в межстолбовом пространстве: Платонов опустил взгляд вниз и увидел языковой поток и поток бытийный. Они сплетались и были всегда неразрывны . язык и бытие. И именно эту неразрывность мы видим в платоновской прозе, именно она .тянет. нам сердце и дает ощущение единственной в своем роде точности, с которой Платонов повествует о вещах вполне обыденных. Но для того, чтобы вымолвить эти чувства, которые открылись писателю страшно и страдательно, нужны были новые связи слов, минующие .столбовые. формы, соединяющие слова напрямую, неправильно, но как-то щемяще истинно. Так происходит, когда речь звучит исповедально, без посредников (вспомним, что исповедник . только инструмент Божьего Слуха и Божьей Речи). Кажется, бессвязная речь кающегося содержит смысл и чувства более адекватные реальным, чем если бы слова его были стройны и последовательны. Точно так же адекватность почти незаметных знаков внешней жизни . бытию, которое изначально омывает каждый жест человеческий, художественно удивительным образом отражена в платоновском слове.

Бытие человека трагично . сознает ли он это или нет, легкомысленно скользя по его поверхности: глубина всегда есть, и она влияет на тебя. Человек вне Бога, человек внутри идеи, человек во власти страстей мира, человек под игом своего самовольного сердца. Всегда расходится верхняя корка земной жизни, и откуда-то извне приходит воля, передвигающая предметы, судьбы и умы. Человек на земле мал, конечен, жалок, но в этих умалительных характеристиках звучит еще один смысл: человек достоин сострадания. Это поистине христианское чувство невидимой дымкой покрывает разломы бытия, оно пропитывает собою трагизм человеческого существования, в нем едва слышно для оглохшего от земных звуков человека детским лепетом звучит высокое обетование.

Так нормативность языка становится еще одной границей, которой очерчена наша земная жизнь, подобно рождению и смерти. Взгляд вглубь языковой нормы . это попытка прозревания бытия, в котором смерть . только часть, пусть страшная для нас, но необходимая. Андрей Платонов проговаривает для нас .засмертные вещи. . быть может, те, которые вместе с нашими душами будут взвешены на Высших Весах. Вот отчего его дума и скорбна и радостна одновременно. В ней нет твердости, но есть любовь и нежность к человеку. Любовь и нежность . воздух трагической философии Платонова. .Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится., . говорит апостол Павел. Речь идет . о бессмертии.

**2**

На исходе социалистической эпохи в России произведения Андрея Платонова воспринимались как безусловная критика советского общественного проекта. Весь ужас человекоубийства, бессмыслицы созидания рая на земле, заклания ближнего своего во имя умозрительной идеи . эти формулы легко ложились в смысловые ячейки платоновской прозы, и казалось, что тем дело и ограничится. Платонов как сатирик, как создатель антиутопий, как обличитель советской нормативности жизни . что еще нужно читателю и что еще можно найти в несколько странноватых для изысканного литературного вкуса платоновских рассказах, повестях и романах?

Но прошло время, не столь уж долгое по календарному отсчету, но огромное по жизненному куску, прожитому страной на излете ХХ века. Платоновский язык вдруг оказался путеводителем к русскому бытию, и поверхностные социальные констатации, так легко находимые в произведениях писателя совсем недавно, отошли на второй план, а то и вовсе скрылись из виду. Социальность платоновского мира, неожиданно уступив центральное место бытийности, стала казаться плоской и ненужной. Теперь уже мы говорим о вневременном у Платонова, об онтологичном, о жизни и смерти вообще, забывая, что Платонов . художник и что все его образы привязаны к людским именам, лицам и реалиям.

Что же означает такая смена исследовательских акцентов и какой дальнейший шаг в понимании феномена Андрея Платонова будет сделан нами реально, будучи востребован прежде наитием, сердечной жаждой и потребностью ума?

Очевидно, что сегодняшний русский человек . это человек, у которого отнята давняя память и настойчиво отбирается память ближняя. Угроза потери исторической правды стоит перед нами теперь как сумрак, медленно надвигающийся на русскую равнину. Опороченное советское время названо никчемным, однако в те годы жили, любили, трудились наши деды и отцы. Они создали великую страну, победили в страшной войне и дали такой задел крепости своей социалистической державе, что и в руках менял, ростовщиков, торговцев краденым наша родина еще жива и сильна.

Так критический ключ к пониманию прошлого не подходит к ушедшей жизни, не объясняет ее, не говорит новому поколению о том, почему же давний советский человек любил свою .красную. землю, а не только боялся ее казенных людей да стремился бросить все и уйти на запад.

Всякое объяснение нашего прошлого, исходящее из логической посылки, будет антагонистическим по отношению к другому, которое станет опираться то ли на факты, то ли на память сердца, какими бы они ни были . ужасными или драгоценными. Это тупик . по той причине что нет носителя нашего рассуждения, нет философского языка, который бы взял и взвесил это отошедшее русское бытие в его полноте.

Язык Андрея Платонова, позволяющий в социальном увидеть бытийное, сегодня призван помочь нам понять, что же происходило с Россией в ХХ столетии. Эта задача не исчерпает ту глубину смыслов, к которой нас подводит удивительная платоновская художественная речь, но позволит увидеть универсальность такого инструмента. Реально же мы обретем вновь ускользающий от нашего ума русский ХХ век. Но теперь его очерк будет сделан на бытийном полотне, а его образ совпадет с образом русского человека, каким мы его знаем . взрослое дитя с неспокойным сердцем и жаждой Правды.